КАМЕШЕК

Проснулся Николай Сергеевич от телефонного звонка. Электронные часы на прикроватной тумбочке били по глазам зелеными цифрами — три ноль пять.

Николай Сергеевич почувствовал раздражение и резко потянулся к вибрирующему аппарату.

— Коля! Коленька, мама... — раздался из телефона сдавленный голос сестры. Можно было ничего не объяснять. Николай Сергеевич в первую же секунду все понял.

С сестрой он разговаривал раз в неделю. Его субботний звонок был и для нее, и для матери маленьким праздником. За пять минут они успевали рассказать ему о племянниках, погоде, огороде, соседях. Он на все вопросы отвечал «нормально», «много работы» и интересовался, как у них с продуктами.

Раз в пару месяцев он делал матери денежные переводы и просил ее хорошо питаться. Она всегда плохо ела — его и сестру накормит, а сама соберет крошки, да постного супа себе нальет. «Держу талию», — говорила. Все Колино детство талию держала.

Отца своего Николай Сергеевич почти не помнил. Ему было пять, сестре — три,

когда тот замерз на рыбалке. Застывшее тело в санях зимним утром привезли соседские мужики. Это осталось самым четким воспоминанием об отце. Все остальное размыто от слез — то отец лупит Колю ремнем, то бежит с топором за матерью.

Надя не помнила и этого — совсем маленькой была. Николаю Сергеевичу всегда было жалко сестру — наивная и беззащитная, любой может обидеть.

— Надя, я все понял. Я прилечу, — сказал в трубку Николай Сергеевич и, опустив ноги на пол, сел рядом с электронными часами у прикроватной тумбочки. Не моргая, он долго смотрел на последнюю зеленую цифру в ряду, ждал, пока она мигнет, но она не мигала. Глаза устали, заслезились, хотелось их протереть, Николай Сергеевич приподнял руку, коснулся припухшего глаза и вдруг спохватился, понял, что на все это нет времени, включил ночник, открыл ноутбук и купил электронный билет на первый утренний рейс. Домой.

Уже сидя в самолете, он подумал, что, скорее всего, зря сорвался, что не будет от него пользы во время похорон. Не хотелось церемоний, не хотелось, чтобы какие-нибудь двоюродные тетки и бабки, взвешивая тяжесть его скорби, заглядывали ему в лицо, не хотелось смотреть в глаза соседям. Не будешь же каждому объяснять, что не ездил он к матери не от черствости, а потому что работал как проклятый, бизнес свой по кирпичику складывал. Не было ведь ни поддержки, ни опоры, сам вставал на ноги, человеком становился. Мать обеспечил, да и сестре без мужа двух пацанов поднять помог. Но старухи все равно будут смотреть, качать головами. От этих мыслей Николай Сергеевич заерзал в кресле и расстегнул ворот рубахи.

В иллюминаторе мир виделся белой, бессмысленной пеной. Николай Сергеевич так внимательно всматривался в плотно расфасованные куски облаков, будто искал там что-то важное, от чего зависело его будущее, и когда стюардесса предложила ему завтрак, неожиданно для себя рявкнул «отстань».

Перед самой посадкой на какие-то пять минут он будто задремал. Приснился ему знакомый огород, мать, полные ведра картошки. По полю бегает мальчишка, ноги босые, штаны по колено закатаны, волосы на ветру развеваются.

— Мама, все в нашем классе хотят быть космонавтами. Все хотят в космос лететь, — кричит на весь огород мальчишка.

— А ты чего хочешь? — спрашивает его мать.

— А я хочу быть летчиком. Буду пролетать над нашим домом, сброшу тебе мешок денег! — отвечает ей мальчишка.

— Разве ж в деньгах счастье, сынок? Иди, я тебя обниму, — последняя фраза утонула в реве самолетного двигателя. Николай Сергеевич вздрогнул, открыл глаза, стюардесса попросила его вернуть спинку кресла в вертикальное положение.

Пять часов по разбитой дороге в ржавом автобусе показались ему продолжением прерванного сна. Стены из берез и елей уходили в небо, дорога простиралась до горизонта, Николай Сергеевич будто попал в тоннель. Он смотрел в грязное окно автобуса и не видел в нем ничего кроме старого, уставшего человека.

На въезде в поселок люди в автобусе засуетились, стали громче раз-

говаривать, привставать с мест, доставать из-под ног сумки, шуршать пакетами, бренчать ведрами. Николай Сергеевич вышел из оцепенения и принялся с каким-то детским волнением осматривать попутчиков.

«А вдруг среди них кто из знакомых или одноклассников», — думал он, вертя головой. Но занятые подготовкой к выходу люди, все между собою похожие и краснощекие, большей частью были намного его моложе. Ни одного знакомого лица он не увидел.

Мужик на соседнем месте спал всю дорогу. На подъезде к дому с заднего сидения его в спину толкнула женщина. Мужик тут же выпрямился и пробасил: «Я вижу», достал из сумки, что стояла в ногах, банку пива, щелкнул крышкой и, громко глотая, моментально ее опустошил.

Николай Сергеевич внимательно рассмотрел его руки с неухоженными ногтями, красное, потное лицо, дешевый спортивный костюм, часы из желтого металла, и ему стало душно.

За окном появилась свалка, черные вороны, как траурная вуаль, покрывали разбросанные вдоль дороги отходы.

— Откуда столько воронья? — спросила у своего соседа женщина с первого сиденья.

— Так половина из них дохлые. Ты присмотрись, — ответил ей мужчина. И весь автобус тут же прилип к окнам.

— Дурак, че пугаешь? Живые они, — успокоила пассажиров женщина, и все с облегчением выдохнули.

Николай Сергеевич почувствовал неловкость и раздражение, ему захотелось поскорее выйти из старой, вонючей машины, вымыть руки, уединиться.

За окном показалась церковь. Тридцать лет назад на ее месте стояло здание райкома, здесь Николая Сергеевича принимали в пионеры.

— А давно тут церковь? — спросил Николай Сергеевич соседа, взявшегося за вторую банку пива.

— Так всю жизнь! — ответил ему тот и рассмеялся.

От здания почты, где остановился автобус, до дома было десять минут хода. Сразу за почтой стояла двухэтажная школа, Николай Сергеевич десять лет ходил в школу мимо этой почты, но тогда она была больше, нарядней, важней.

Повесив на плечо бесполезную кожаную сумку, Николай Сергеевич пошел вниз по улице. Дорога после дождей была размыта, дома казались кособокими и неухоженными. Рябины у деревянных ворот и калиток горели красным пламенем, в осыпавшейся под березами листве купались куры, изредка перебегали дорогу тощие дворняги. Не было в Николае Сергеевиче ни ностальгии, ни тоски. Все вокруг было чужим и отталкивающим. У крашеных синих ворот с красной звездой на почтовом ящике Николай Сергеевич остановился.

— Мам! — услышал он, будто из прошлого, свой детский голос и задохнулся. Мимо ворот пробежал мальчишка, навстречу ему шла женщина с сумками.

Николай Сергеевич кашлянул, ища поддержки, крепче сжал ручки своей кожаной сумки и вошел через открытую калитку во двор. Во дворе, в остатках рыжей травы, от калитки к дому тянулась серая асфальтовая дорожка, было видно, что она еще свежая, положена неумело, но аккуратно. Деревья в палисаднике — большие, раскидистые, сочетали в себе все оттенки желтого. Когда-то палисадник был пустым. В нем росла толь-

ко черемуха. Через двор было перекинуто множество бельевых веревок. На одной из них дрожали на ветру платье и косынка. Пахло дымом и сырой землей.

У старого деревянного крыльца стояла скамья, на ее большой ветхой спинке было вырезано «Вера». Николай Сергеевич подошел к этой скамье, как к единственному знакомому в чужой стране, поставил на нее свою сумку, осторожно, боясь, что скамья под ним рассыплется, сел.

В этот момент дверь в дом открылась, из нее вышла женщина с красными глазами и тонкой синей полоской губ.

— Коленька, я знала, что это ты, — сказала шепотом женщина и бросилась к нему с объятиями. Николай Сергеевич видел сестру в последний раз, когда той было семнадцать. Фотографии и видео-трансляции — не в счет, там она всегда улыбалась, была в красивом платье и с прической. Сейчас же она вела себя точно так же, как тогда, когда он уезжал: висела на шее, тряслась и плакала. Но это была чужая, старая женщина.

— Нет больше мамы, Коленька, — шептала в ухо ему сестра, на шею ему текли ее слезы. — Иди в дом, она так ждала, что ты приедешь.

В волосах сестры торчали седые прядки, пахло от нее коровником.

— Здравствуй, Надюша, — выдавил из себя Николай Сергеевич и, испытывая неловкость за свои дорогие туфли, пальто, парфюм, чуть ссутулившись, опустил голову и пошел в дом.

В доме было темно, пахло сыростью. В веранде в несколько рядов стояли банки с консервацией.

— Вот, мама на прошлой неделе закрутила огурцы-помидоры, икру баклажанную, — также шепотом сказала сестра. В веранду вышли два бритоголовых парня.

— Здравствуйте, дядя Коля, — почти хором произнесли мальчишки и подошли по очереди к Николаю Сергеевичу.

Николай Сергеевич тыкался носом в их бритые макушки и видел футбольное поле, велосипед и речку.

Комнаты в доме были проходными. Закрыв за собой дверь веранды, Николай Сергеевич увидел в дверном проеме горящую свечу и остановился. Этот дом в его памяти был большим кораблем — чистым и свободным, его паруса развевал ветер, в нем было много воздуха и света, но сейчас он стоял в каморке с крошечными окнами, здесь было трудно дышать, отсюда хотелось бежать.

— Мама, — по-детски произнес Николай Сергеевич и на ватных, непослушных ногах пошел в большую комнату, туда, где стоял телевизор, а на стене висел ковер.

В центре комнаты, где всегда было весело и радостно, стоял стол, на этом столе в деревянном коробе лежало тело с зажатой между пальцев свечой.

Лицо матери было уставшим, потемневшим, но счастливым. Николай Сергеевич увидел приподнятые уголки ее губ, мать ему улыбалась.

— Мама, — снова произнес Николай Сергеевич и заплакал. И плакать у гроба матери оказалось легко.

— Почитай молитву, Коленька. Мама в последние годы любила, — шепнула ему сестра и поднесла табурет. Николай Сергеевич сел у гроба и зашептал что-то свое.

«Прости меня, мама. Прости, мама, пожалуйста. Прости, что поздно приехал».

В комнату входили, из комнаты выходили. Николая Сергеевича обнимали незнакомые люди, говорили какие-то слова, он им что-то отвечал. И никто не заглядывал ему в глаза, никто не смотрел с укором. Приходили попрощаться с бабой Полей, приходили поддержать Надюшу.

Когда в комнату вошла баба Катя, Николай Сергеевич ее сразу узнал. Она за тридцать лет почти не изменилась. Он помнил ее с детства именно такой — сгорбленной, маленькой, морщинистой. Уже тогда ей было лет семьдесят.

— Не плачь, Колька, Полюшке сейчас хорошо, — сказала она у гроба своим скрипучим голосом. — Вон твоя мамка какая — красивая, улыбается.

Ночь Николай Сергеевич провел на табуретке рядом с сестрой. Надя то читала «Отче наш», то пела старые песни. Под утро задремала, проснулась с опухшим лицом и потерянным взглядом.

— Коля, ты кого-нибудь когда-нибудь любил? — спросила тихо.

— Любил, — ответил Николай Сергеевич. Он очень устал за последние сутки, но по лицу сестры понял, что она за целую жизнь устала больше.

— А тебя, Коля, любили? — снова спросила сестра.

— Любили, наверно, — пожав плечами, ответил ей Николай Сергеевич. И лица обеих его жен проплыли перед ним, как кадры из диафильма.

— А ты никогда не хотел детей? — продолжила будто сама с собой сестра.

— Хотел, — неуверенно ответил Николай Сергеевич.

Он никогда и ни с кем не говорил на эти темы и меньше всего ожидал, что будет обсуждать свою личную жизнь с сестрой.

— Помнишь Веру? — спросила она, глядя в пустоту.

— Помню, — коротко ответил ей Николай Сергеевич.

— Она завтра придет на похороны.

Утром шел дождь. Из церквушки пришел молодой батюшка, исполнил по книжке свой ритуал, дал поцеловать Наденьке крест, сказал много хороших слов про рабу божью Прасковью, так в церкви звали мать Николая Сергеевича, вспомнил, какая она была щедрая и добросердечная, напустил в комнату дыма и сказал, что придет к обеду на кладбище.

Ближе к обеду зарядил ливень. Дорогу размыло. Глина уходила из-под ног четверых ребят, несущих гроб. Решено было гроб погрузить на грузовик и не идти до кладбища, а ехать.

У дома собрались соседи с нескольких улиц, венками был заставлен весь двор.

— Коля, прими наши соболезнования, — подошла к Николаю Сергеевичу очередная женщина в черном. С ней рядом стоял мужчина с рассеченной бровью. По этой отметине Николай Сергеевич узнал друга детства — Ваську.

Вместе с Васькой Николай Сергеевич летом ходил прыгать с тарзанки, и однажды Васька прыгнул неудачно, не долетел до воды, ударился о ветку, распорол бровь. Кровь хлестала из него, как вода из фонтана, девчонки кричали, мальчишки разбегались. Тетя Дуся из больницы потом эту бровь шила Ваське белой ниткой.

— Спасибо, Василий, — ответил Николай Сергеевич подошедшим, глядя на единственно знакомую ему отметину на лбу чужого человека.

— Веру-то узнал? — будто с вызовом спросил его этот человек.

— Конечно, — ответил Николай Сергеевич, и уголки его губ дернулись. Поднять глаза на невысокую женщину в черном платке он не посмел.

Гроб в могилу опустили слишком быстро. Надюша больше не плакала, только дышала ртом и прикладывала к носу ватку с нашатырным спиртом.

Поминки были в столовой, недалеко от почты. Какие-то люди говорили Надюше, что ее младший пошел в дядьку, баба Катя поднимала рюмку со словами «все там будем» и не пила, маленькая женщина в черном пыталась предотвратить Васькин запой, молодежь хорошо ела.

Вернулись домой Надя с детьми и Николай Сергеевич поздно. Было уже темно. Надя побежала доить корову, мальчишки — кормить свиней.

Николай Сергеевич сидел на скамейке во дворе и смотрел в темноту. Впервые он почувствовал себя одиноким. Где-то жалобно выла собака, хотелось поддержать ее вой. На небе горели звезды — круглые, крупные, как картошка из маминого огорода.

Из загона с ведром молока вышла сестра. Взглянув на нее, Николай Степанович понял, что она стала сильной, она стала намного сильнее его.

— Иди в дом, холодно, — на ходу сказала ему сестра.

— Да-да, сейчас, — ответил ей Николай Сергеевич и направился к калитке.

Фонари в селе горели через один, по темным углам на лавочках сидели подростки. Ноги сами несли Николая Сергеевича по улице через почту, через столовую, на школьный двор.

С неба снова заморосило и стало совсем холодно. Старая, как и скамья во дворе дома, беседка стояла на том же месте, что и тридцать лет назад — перед окнами учительской.

Николай Сергеевич заскочил в нее и как в мелодраме застыл на месте. В беседке была Вера.

— Я знала, что ты сюда придешь, — спокойно сказала Вера.

— А где Вася? — спросил ее Николай Сергеевич.

— Вася спит. Дома, — ответила ему Вера. — Ты не подумай ничего дурного. Я пришла попросить прощения.

— Издеваешься? — прервал ее Николай Сергеевич.

— Нет, Коля. Ты не понимаешь. Я сделала плохое дело. В церковь уже много лет хожу, грех свой отмаливаю, а все на душе тяжко.

Николай Сергеевич вспомнил, как прощались они утром в кукурузном поле, как она плакала и просила его не уезжать и как он сказал ей глупость в кино увиденную: «Слишком хороша ты для меня, Вера, не могу я портить тебе жизнь». Вранье все это было, конечно. Единственное, чего точно не мог тогда Николай Сергеевич — это остаться в селе среди механизаторов, доярок и трактористов. Он еще в армии все рассчитал: демобилизуется, месяц дома отгуляет и в город уедет. В Москву! Но куда же брать в Москву Верку? Будут там как два деревенских дурака болтаться, таких сразу видно, никаких шансов на успех.

— Ты, Коля, когда уехал, я извелась. Не спала, не ела, только плакала. Мама думала, в больнице кончусь. Травами отпаивала, бабушку ко мне привела из соседнего села. А та бабушка меня научила, как от сердечного недуга избавиться. Сказала, платок носовой со слезами взять, в

него положить именем твоим названный камешек, завязать его и в глубокое озеро выбросить. Сказала, что так я тебя накажу — всю жизнь страдать будешь, а сама излечусь от слез. Я так и сделала, Коля. Выбросила камешек в наше глубокое озеро, то, где мы с тобой в первый раз ночевали. Прости, Коленька. Прости меня!..

Вера тихо плакала, дождь громко стучал по крыше беседки, фонарь качался на ветру.

— Хочешь поехать со мной в Москву? — зачем-то спросил Николай Сергеевич маленькую женщину.

— Вася без меня пропадет, — ответила ему Вера.

С ВИДОМ НА НЕВУ

На горизонте огненно-красно, будто разверзлась земля и наружу выплеснулось море раскаленной лавы. Адмиралтейская игла, как обгоревший шпиль среди зарев, торчит с вызовом, приглашает на казнь: «Лети ко мне мотылек, насади на мое острие свое легкое тельце». И снова трудно дышать, хочется задернуть штору, сменить картинку. Шторы тяжелые, плотные, густого оливкового цвета, их приятно трогать всей ладонью. На ощупь они словно мох — мягкие, ворсистые, теплые. Касаешься их в плохую погоду и на Неву смотреть уже не так зябко. У Невы дурной характер, вздорная она. Настроение меняется неожиданно, темнеют воды, покрываются рябью, словно морщинами, и за какие-то пять минут может она из прекрасной девы обернуться в сварливую старуху. Кружевные дерева на набережной склоняют перед ней свои макушки, шепчут речи усмирительные, да только зря все, если уж выходит она из себя, никто с ней не справится. Бегите, спасайтесь! Мне отсюда с шестого этажа все прекрасно видно, сколько раз наблюдала нрав ее, сколько раз вздрагивала.

Шестой этаж в гостинице новый. Здесь все по последнему слову, здесь каждая деталь имеет смысл. В жизни смысла нет, не ищите зря, а вот в этом персидском ковре посреди номера столько смысла, что вам и не снилось: вон те завитушки в центре — гранатовые чащи, в которых прячутся золотые птицы. Ночью птицы оживают, парят над огромной кроватью и поют свои прекрасные песни. И сны вам снятся волшебные, цветные, яркие.

Картина на стене с питерскими крышами тоже не простая. Что вы знаете о пространстве питерских крыш? Это целый космос, это параллельная вселенная. Это особый воздух, это другой язык. Почувствовать себя кошкой, феей, ведьмой, звездной пылью. Просто почувствовать себя.

А эта лампа! Стиль ампир. Эволюция классицизма. Толстая ножка, на которую опираются прекрасные нимфы, несущие свет, как опора мирозданья, выполнена из латуни. Полуобнаженные нимфы отлиты из серебра, их лица, улыбки — все дышит роскошью и любовью. Где-нибудь в «Золотом треугольнике» такую вещицу вам могут выдать за французский антиквариат, будьте осторожны. Хотя, за любовь никаких денег не жалко. Любовь, даже отлитая из металла, всегда роскошь и стоит дороже денег.

О, а этот комод! Вы часто встречаете в гостиницах комоды? Вот то-то же! Красное дерево, медные ручки, резные ножки. Он прекрасен! Я, бывает, представляю лицо мастера, округлявшего бока этому торо россо. Я

вижу его смуглым, с высушенной солнцем кожей, кустистыми бровями над глубокими черными оливками глаз, сжатыми обветренными губами, массивным подбородком. Он гладит большой рукой свое детище, целует его отполированную поверхность и плачет. Я бы плакала при расставании с этим комодом.

В своем чреве комод хранит настоящие сокровища. Сейчас я вам покажу их. Две полки женского кружевного белья. Полка с духами и кремами. Еще полка с украшениями. Вам, конечно, все это непонятно. Ведь гостиница — временная пристань. Вас бы устроил чемодан с распахнутой пастью посреди комнаты, носки, скрученные в шарики, пара вешалок в шкафу для пальто и костюма, какой-нибудь чайник на краю кособокого стола и рабочий душ. Ах, ну да, вам, конечно, еще вай-фай был бы необходим. Вы со своими чемоданами такие смешные!

Так вот, белье полупрозрачное, невесомое. Будто роса капнула на кожу. Вот это телесного цвета — торжество великолепия. Признайтесь, вы ведь не сможете теперь его забыть? А про временную пристань — все чушь. Два часа бывают длиннее жизни. Вы ведь сами все знаете. Два часа ожидания — вязкие и бесконечные, когда задыхаешься от нехватки воздуха, когда хватаешь руками пустоту, когда превращаешься в разъяренного зверя, меряющего шагами крошечное пространство, когда в висках гудит и стучит, когда сердце булькает, словно бросили его в кипящую воду, когда земля вдруг останавливает свой бег и чуть покачивается над космической пропастью. Или два часа счастья, когда вдруг замирают все звуки и движения, когда солнце превращается в большой раскрытый цветок, из которого можно пить вечность, когда сладко и больно в груди от сиропа радости, будто в один миг все люди Земли начали варить клубничное варенье, и ягода уже закипела, и густая пенка поднялась над варевом, и аромат ее заполнил все самые отдаленные уголки сонной планеты.

Да, про белье: тут еще черное и красное — невесомое и прозрачное. Конечно, духи и все эти баночки с ароматными смесями. До головокружения! Жасмин и мускус, розмарин и цитрус, кипарис и пачули, ваниль и орхидея…

Мы гуляли с ним по набережной. Он держал меня за руку и просил рассказать еще про Трезини, Растрелли, Росси. А мне было ужасно стыдно, что я знаю о них так мало. И я перекатывала их звучные имена по языку, говорила общеизвестные факты и краснела. А он слушал так, как никто никогда меня не слушал. И еще смотрел. Так ласково, так глубоко. Как я сейчас смотрю на дурацкий этот комод, на все эти безделушки. А потом развели мосты. И он спросил разрешения на поцелуй. Ну разве об этом спрашивают?.. И Нева тогда притихла. И я не нашла, что сказать. У меня очень плохо со спонтанной речью. Я когда волнуюсь, я заикаюсь. И выгляжу как идиотка. Тогда мне показалось, что этот город распахнул мне свои объятия. И я провалилась в них, утонула. И нельзя уже было возвращаться домой…

Я люблю здесь все. Каждую улочку, каждый вензель на зданиях. Вечером, когда невыносимо хочется плакать, я иду по Невскому проспекту от Аничкова моста до Мойки, сворачиваю на набережную и иду до Летнего сада. Такой смешной туристический маршрут. Он всегда меня спасает, оживляет, настраивает. Почему-то именно в Летнем саду мне всегда становится легче.

Сейчас я ненадолго вас оставлю. Ко мне, кажется, пришли...

— Айгуль! Сколько можно убирать один номер! Что ты здесь копошишься? Не дай бог тебе прикоснуться к вещам постояльцев! Я тебе обещаю, тут же вылетишь к своим чучмекам! Да двигайся же быстрее! Берешь их как людей, а они бараны баранами...

УРОКИ МУЗЫКИ

Длинный мазаный синей краской коридор музыкальной школы как бы шепчет своим прихожанам скрипучими половицами рассохшегося пола: «Жизнь бессмысленна и темна». Единственный просвет в этом длинном, наполненном какофонией звуков тоннеле — небольшое грязное окно, заставлено пыльными полусухими растениями в потрескавшихся горшках и служит прибежищем для деятельных насекомых. Пауки здесь плетут невероятные сети, а глупые мухи трепыхаются в них, как распятые мученики.

Настя смотрит на них с пониманием и тоской. Ей близки их переживания. Всякий раз, приведя сюда на занятия свою дочь, она неизменно идет к грязному окну с мухами. Будто сила притяжения срабатывает. Хотя иногда ей так хочется остановиться рядом с трындящими мамашами-бабками, что сидят на скамейках вдоль стен в ожидании. Срастись с ними, попасть в тон, влиться в их реку бреда.

Быть может, между рассказами о борщах и болезнях они поделятся с ней тайной своей радости, расскажут, как не сошли с ума на своих кухнях, как не задохнулись от невежества рядом с полками великих авторов, как не оглохли от пошлости, льющейся из динамиков в общественном транспорте и с экрана телевизора, как справились с человеческим хамством, как остались уверенными в себе, как просто решили остаться здесь...

Настя устала жить. Вернее, как-то в один момент она вдруг поняла всю бесполезность утреннего пробуждения, общепринятого ритуала существования и всего того, что коротко и хлестко, называют «жизнью». Само слово ей даже вдруг опротивело — скользкое, аморфное, будто сквозь пальцы просачивается.

Окончив консерваторию по специальности «виолончель», она не специально вышла замуж за доброго и состоятельного человека, родила прекрасную девочку и навсегда разлюбила музыку. Просто разлюбила. Не было никакого душевного надлома, который в таких случаях ищут психологи, не было тяжелых жизненных условий, которые авторы приплетают в книжках главным героям, ничего такого не было.

Просто однажды утром Настя проснулась и поняла, что сделала здесь все. А также она поняла, что она не гений, а посредственность. Серая, среднестатистическая женщина, каких на Земле миллионы... Да, у нее есть свой персональный мужчина, свой собственный ребенок, квартира, машина, побрякушки... Все... Да, это все... Больше у нее ничего нет. И никогда не будет. Потому что если есть что-то еще, то с этим рождаются, об этом знают изначально...

Стоя возле окна с мухами, Настя преображалась, она выпрямляла плечи, всматривалась в паутину и бессознательно вслушивалась в порхающие за закрытыми дверями мелодии. За первой закрытой дверью, сотрясая стены школы, гремел хор. Среди общего хорового многоголосья

Настя выделяла один тонюсенький неровный голосок. Иногда он фальшивил и выводил ее из равновесия.

«Зачем я привела ее сюда? По привычке… Просто потому, что когда-то так же привели сюда и меня? Просто потому, что мне страшно признаться ей, что она такая же обычная, как и я. И что гении больше не рождаются… И что мы пытаемся занять себя и своих детей каким-то подобием искусства… Просто, чтобы казаться себе чем-то…»

Перед ее глазами плыл туман и запутавшиеся в паутине мушки, уже казались ей маленькими чертиками, с трезубцами в лапках, они махали ей, приглашая в свою паутину, скалили зубы, подмигивали. Настя задержалась за подоконник и попыталась закрыть глаза.

«Вот сейчас инсульт или инфаркт, и никогда не возвращаться обратно. Никогда не возвращаться в этот дико синий коридор, в это общество амбициозных лжецов. Не толкаться локтями в поисках живого и настоящего…»

Сколько раз Настя видела свой уход. Свое освобождение. Ей, как и любой женщине, хотелось, чтобы это было красиво и безболезненно. Чтобы закрыть глаза — и ни боли, ни крови, ни сожаления. Она ни на секунду не сомневалась, что муж и дочь справятся и поймут все правильно. Муж еще молодой и интересный мужчина найдет достойную женщину, которая будет радоваться его цветам, вниманию, подаркам, будет фаршировать ему рыбу и правильно запекать цыпленка.

Дочь в свои шесть лет поймет ее как женщина женщину и простит. А еще запомнит молодой и красивой…

В сумочке завибрировал мобильный. Настя никогда не позволила бы мобильному «петь». С нее хватало всех остальных звуков в этом мире. Но завибрировал телефон весьма энергично и заставил ее снова остаться. Простуженный голос из трубки сообщил Насте, что она может забрать свой плащ из химчистки и что, если она хочет это сделать сегодня, то у нее остался только час времени…

За второй дверью кто-то с остервенением повторял гаммы. И каждый новый удар по клавишам отзывался в Насте ужасом. Она снова и снова вздрагивала и пыталась все сильнее вжать голову в плечи. От шепелявости в трубке у Насти свело зубы. Новые удары по клавишам показались ей звуками вбиваемых в крышку гроба гвоздей. Дышать стало трудно… Мухи уже не сопротивлялись, и, безжизненно распластавшись, гроздьями висели на пыльных решетках паутины. За грязным стеклом потемнело. Серая, почти черная туча повисла над маленьким двориком музыкальной школы. Настя улыбнулась своему отражению в замызганном окне, будто в предвкушении чего-то долгожданного и большого…

Она никогда не ощущала ничего подобного, так, наверное, дети ждут чуда, а заключенные — освобождения… Ветер ударил ветвями спиленного тополя по стеклу, и Настя ощутила холодок, ползущий по ее ногам вверх. Этот холодок сковывал движения и будто обволакивал ее сознание. Звуки становились все менее раздражающими, грязь на стекле — менее отчетливой… И вдруг дверь хорового зала с шумом распахнулась, и из нее выбежал маленький круглый человечек — с гладкой блестящей лысиной и большими синими глазами.

— Настенька, боялся уже не застать вас. Как вы, дорогая? — Марк Моисеевич преподавал хор в этой школе почти шестьдесят лет. И был учителем еще родителей Насти. Именно он настоял на том, чтобы Настя «попробовала виолончель» и теперь вот учил ее дочь.

— Марк Моисеевич, я — нормально. Ну, как всегда…

Глядя в глаза этому открытому и доброму человеку, Настя всегда немного смущалась. Он для нее был загадкой. Вопреки другим преподавателям, он не кричал на фальшивящих, не вскидывал к небу руки, не закатывал глаз, а просто говорил: «Зато как душа поет!» Иногда он казался Насте немного ненормальным, и она даже подозревала у него проблемы со слухом.

— Настенька, ваша девочка — просто чудо! Она гениальна! Вы хоть понимаете это! — Его добрый смех, вечно нараспашку душа согрели ее изнутри, и она зачем-то совершенно не к месту прослезилась и обняла его за плечи.

— Спасибо, Марк Моисеевич. Как же… Знаю я всех ваших гениальных учеников…

Он обнял ее, как делал это тысячу раз при встрече, но Насте почему-то вдруг показалось, что она не ощутила его объятий…

— Настенька, гений ты мой самый чистый… — ответил ей учитель и, улыбнувшись, побежал вперед. — Тороплюсь, дорогая. А ты не спеши… — с этими словами он исчез в толпе голосящих детей и их родителей.

К Насте вышла из класса дочь, вечно несобранная, растерянная. Настя улыбнулась и взяла у нее из рук ноты.

В вестибюле, как всегда, толпилось много народу. С одной стороны шли дети и родители с занятий, с другой стороны входили люди с букетами цветов в большой зал на концерт. Среди всей этой суматохи и суеты вдруг раздался крик вбежавшей с улицы женщины: «Скорую»! Марка Моисеевича сбил трамвай…»